

Чалмаев В.А.

## Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал»

Так обычно, обозревая его уходы (от белых и красных) и приходы в лагерь белых (а затем — в красную конницу), поиск мирного счастья и невольный уход в банду Фомина, обозначают поведение самого масштабного героя эпопеи. Он на глазах у читателя из героя романтического любовного треугольника в первой книге превращается в трагически-скорбного, то и дело беседующе-го со степью, с песней, с просторами Дона и истории эпического героя. Только они часто оказываются с ним одного масштаба, хотя он — совсем не резонер, не вещатель каких-то отвлеченных истин.

Однако, как правило, путь, по которому движется герой, связывают только с борьбой белых и красных. И Григорий якобы мечется между, с одной стороны, красным казаком Подтелковым, Штокманом, Гаранжой, Мишкой Кошевым и, с другой, белыми генералами Фицхелауровым, Секретевым, Листницким, командирами восставших казаков, Фоминым. Это, конечно, чисто политический, социологический подход к жизненному пути героя, позволявший в былые времена делать его выразителем «колебаний середняка», воплощением схватки «труженика» с «собственником», видеть в нем «мелкобуржуазную стихию».

Он и сам то и дело попадает «в серединку», натываясь на монархизм Листницкого, на идеи автономиста Изварина (идею независимости Дона), на грубое приглашение станичников «перевоевать», изменить итоги войны уже после возвращения. Он наталкивается и на деспотизм односторонних приказов Штокмана, Кошевого. Но приходит он вовсе не к компромиссу, а возвращается к самому себе! Ведь в нем нет ничего ни от Митьки Коршунова, ни от Кошевого, ни от Бунчука, ни от Листницкого! Григорий отрицает все эти крайности. Он всякий раз возвращается к самому себе, «беседуя» все с теми же великими наставниками — родной степью, песней, матерью, наконец, с солнцем.

Удивительный центральный персонаж, фактически не сближающий антагонистов, а, скорее, подчеркивающий их одномерность, бедность, сиюминутность, случайность их взаимной ненависти!

Центральное положение героя, тот факт, что столь многие крепко за него молятся и столь же многие готовы его беспощадно уничтожить («Иди забери зараз же Гришку. Посадишь его отдельно», — приказывает Штокман Кошевому), обусловлено очень многими обстоятельствами.

Во всяком случае, не между «двумя началами» явно политизированного плана, к тому же им отрицаемыми, скитается Григорий. Они для Григория, эти начала, часто просто примитивны. Сколько ловкачей в эти годы перебегало из лагеря в лагерь, подныривало... под баррикадами, превращалось из белых в «розовых» большевиков, а затем и в красных!

Если уж говорить о «двух началах», обступающих Григория, то нельзя сводить их только к борьбе красной и белой идеи. Исход этой борьбы был, в сущности, предрешен общим отношением русского крестьянства, не желавшего отдавать землю серым баронам, помещикам, предрешен общей волей солдатской, рабочей массы не возвращаться вновь в состояние рабски покорной серошинельной, вечно опекаемой толпы. Народ не мог быть загнан в старый хлев. Григорий не случайно ни разу не пожалел о последнем, «хреновом» царе, так по-светски, «демократично» отказавшемся от власти, не спросив Россию. И генералы, возглавляющие белое движение, для него слепцы, ничего («ни черта!») не понимающие в изменившемся народе.

Что касается мелких «правд», доктрин, анархических решений, то они вообще недостойны того, чтобы Григорий метался между ними.

Вспомните, как в разгар восстания 1919 года друзья Григория по повстанческой дивизии Платон Рябчиков и Харлампий Ермаков вдруг захотели превратить Григория... в самостийного атамана, в Махно. Они готовы бить под его началом и белых, и красных: «Веди нас в Вешки — все побьем и пустим в дым! Ильюшку Кудинова (руководителя восстания), полковника — всех уничтожим! Хватит им нас мордовать! Давай биться и с красными, и с белыми!»

Это ведь тоже — «программа», «доктрина», хотя и совершенно эмоциональная, стихийная!

Можно только вообразить весь испуг тусклого литературного вождя конца 30–40-х годов В. Ставского, когда он, поехав в Вёшенскую «в связи с тревожными сообщениями о поведении Михаила Шолохова» и прочитав 300 страниц четвертой книги «Тихого Дона», увидел... снисходительное, совсем не восторженное, сожалеющее отношение Григория к... чисто бюрократическому поведению Мишки Кошевого, нового хозяина хутора Татарского!

Ставский предложил в письме Сталину не только оторвать Шолохова от родни со стороны жены — «от нее прямо несет контрреволюцией!» — но и... переселить его «из станицы в промышленный центр». Он признал, правда, что Шолохов «решительно против этого, и я был бессилён его убедить в этом»...

Изменить Григория Мелехова — изменить самого Шолохова. «Гамлетизм» Григория гораздо глубже, трагедийнее колебаний между «началами» тех дней. Он затрагивает все «начала» эпохи, русской национальной жизни, задетые, сдвинутые, поколебленные революцией. Потому так напряженно следили за его мученическими скитаниями миллионы читателей. Следили и критики, отмечая зигзаги «течения» всего «Тихого Дона»... по поведению Григория, не позволяя — и это слышал писатель! — погубить Григория. Ведь гибель такой замечательной личности, не слившейся ни со старым, ни с новым укладом, — это явное обвинение революции! Но все прекрасно понимали, что и подравнивание Григория под Мишку Кошевого, гордящегося печатью, угрозами хуторянам «Я вам покажу, голуби, советскую власть!» — это хуже смерти героя.

Есть два великих «начала», два состояния народной жизни, которые действительно осложняют, испытывают характер Григория: это сабельные, смертные атаки на родной земле и мир жизни, семьи, дома, любви. Положение героя между этими эпическими «началами» все время крайне сложно, драматично.

Задумаемся над главной ситуацией в судьбе Григория.

Григорий почти всю жизнь проводит среди «войны», в чужой ему «далекой стране» ненависти, смерти, ожесточаясь, впадая в отчаяние, с отвращением обнаруживая, как весь его талант уходит в опасное мастерство сотворения смерти. Ему некогда быть дома, в семье, среди любящих его людей. Он все время — вне трудов в поле, на пашне, он оторван от детей. А ведь оказалось, что он, разрушитель семейных устоев, нравственности, всего уклада дома в первой книге, стал самым ревностным его защитником в последующих книгах, стал опорой и отца, и Натальи. Идея Дома превратилась в его глазах в нечто более грандиозное, великое — вспомним его восприятие казачьих песен! — нежели в сознании отца. Ильинична однажды заметила, как Григорий разглядывал ее прялку. Будто заново ее открыл.

В памяти читателя «Тихого Дона», безусловно, останутся снисходительные, горькие усмешки автора над людьми с частными, но такими «успокоительными» идеями жизни. Легко Листницкому с его ясной, кастовой ненавистью к «быдлу», к солдатской массе, в которой «хамство проснулось». Он и раньше, в дни мира, его ненавидел. Легко и Кошевому: он способен насытить инстинкт классовой мести, убив столетнего деда Гришаку. Ему и в стихии «войны» удобно жить. Легко, наконец, правда не во всем, отцу Григория... В романе есть трагикомическая сцена, исполненная грустной иронии. Пантелей Прокофьевич был, например, ошеломлен известием о гибели трех земляков. Но вслед за этим он

увидел в лесной, мелкой луже «темные спины сазанов, плававших так близко от поверхности». И вот уже забыт героем голос «войны», погребальный звон колоколов, — найдена кошелка, скоро затрепетал первый улов, утешающая добыча в руках. Он с опаской оглянулся: «не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросята, сазанов». Он уже целиком в утешающей стихии «мира».

Григорий таких счастливых мелких забвений, смягчающих удары судьбы, почти не знает. Он их органически не приемлет. Он хочет дознаться до самого главного в событиях, как «мирных», спокойных, так и в бурных, «военных». Герой этот буквально одержим жаждой понять те силы, что «вступили в управление жизнью».

Все понять, все вместить — не выпадая из событий, не ища забвения во фразе, веря в просветляющее и мысль и чувство воздействие событий — хочет Григорий. Не плакатных слов он хочет.

Все движение героя в чрезвычайно сложном пространстве романа, между «домом» и «войной» — это путь хождения по мукам с открытым всему, «развороченным» сердцем. Мир дробится, он же ищет цельности. Он подмечает то, к чему другие равнодушны. Как же шадить его Штокману, если, придя по старой дружбе погугарить в совет, он наигранно-зло, с каким-то отчаянием подмечает: «Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а “Ванек” в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны, и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они — куда равенство денется»? Какие ключевые, вечные вопросы!

При всем этом удивительная свежесть, глубина, долговечность всех прозрений, жизнеощущений одухотворяет его характер: он мрачнеет, замыкается в себе только в конце, в банде Фомина.

Гибнут или теряют смысл жизни намного раньше Григория — и бесславнее его — все те, кто самоуверенно возвещал, что «середки нет», что вся Россия — лишь два ожесточенных лагеря. Так погиб после расстрельных ночей, работы в ЧК тот же Илья Бунчук. «Каким бы грозным убийцей Григорий ни был, прирожденное благородство и сдерживающее начало традиционной морали не дают ему превратиться в Бунчука или Кошевого». (Г. Ермолаев). Мужественно (в личном плане) гибнут Штокман и Котляров. Но и они так и не обрели полной свободы понимания смысла событий, так и не заглянули вперед, хотя бы на один поворот реки истории. Что натворит «ясный» во всем Кошевой, будущий Нагульнов с наганом, во время коллективизации — нетрудно предвидеть: это уже готовый, не рассуждающий винтик даже для карающей машины. И лишь Григорий вплоть до финальных страниц романа сохраняет высочайшую степень прозрения, интуитивного различения добра и зла. Он, может быть, куда более последовательный гуманист, нежели застывшие в своей «ясности» представители обоих враждующих лагерей.

Самые же главные «начала», которые требуют от Григория осмысления, — это две эпохи, былая, устоявшаяся казачья жизнь с ее правдами, преданиями, песнями (правдами отца, Натальи, Ильиничны) и новая, которая наступает, настигает всех, побеждает.

Он интуитивно понимает, что неслаженность, противоречия эпох — крупнее, серьезнее, чем антагонизм того же Листницкого и Мишки Кошевого: тут вся Россия ищет своей новой судьбы. Ему совсем не хочется, чтобы она, Россия, отбросила правду отца Пантелея Прокофьевича о великой исцеляющей силе Дома, семьи, труда на земле, святого материнского чувства Ильиничны, и Натальи, и даже сестры Дуняшки... С каким душевным трепетом говорит он перед уходом с Аксиньей из хутора сестре, которая взялась беречь двух его детей: «Великое спасибо тебе, сестра! Я знал, что не откажешь!»

Но Григорий не хочет вставать и на пути всего нового, что внесла революция. Да ведь и сам он — даже с его офицерским чином, с его новым кругозором и чувством народосбережения — тоже дитя новой эпохи.

Может быть, все эти трагические особенности движения Григория из одной эпохи в другую, его интуитивное стремление соединить лучшее в обеих, спасти человека в себе и в окружающих «в годину смуты и разврата» и определило все его отношение к Аксинье.